

## Люба Юргенсон

**Alexander Etkind. *Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2013. 328 pp. ISBN 978-0-8047-7392-8.**

*Luba Jurgenson. Address for correspondence: Université Paris–Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France. luba.jurgenson@wanadoo.fr.*

Несмотря на то, что в Европе и в Америке коллективной скорби, связанной с историческими катастрофами XX века, посвящена обширная литература, последствиям советских репрессий в ней отводится, как правило, весьма скромное место. Работа Александра Эткинда, опубликованная в серии «Cultural Memory in the Present» издательства Стэнфордского университета, знаменательна именно тем, что наследие сталинских и послесталинских репрессий предстает в ней как достояние общей культурной памяти, предмет изучения археологии современности. На страницах книги, публикация которой является важным событием в области memory studies, завязывается диалог между западными теориями горя (утраты, потери) и изысканиями российских историков, стремящихся воссоздать следы государственного насилия советского периода. При этом привлекается теоретический инструментарий, разработанный на ином материале, в частности – на материале исторической памяти о Холокосте. Эткинд сравнивает немецкую память о Холокосте, создающуюся на протяжении почти полувека, и все еще не устоявшуюся, а зачастую и оспариваемую, память о ГУЛАГе – явление сравнительно недавнее. Первая уподоблена старику, вторая – юноше, которым этот старик когда-то был (с. 204). Эта схема позволяет делать прогнозы на будущее в отношении российской ситуации вне зависимости от политического расклада в стране.

В своем эссе «Нетленность лагерей» венгерский нобелевский лауреат Имре Кертес, бывший узник Освенцима и Бухенвальда, задается вопросом о том, почему в европейском сознании именно Освенцим, а не ГУЛАГ стал «универсальной притчей, которая отмечена печатью вечности» (2004). Одна из причин – сложность нарратива и, когда речь идет о советском терроре, неоднозначность фигуры жертвы. Исследование Эткинда развивает эту тему.

Релевантной в контексте постсоветского опыта представляется Эткинду теория «постпамяти» Марианны Хирш (Hirsch 1997): речь идет об унаследованной памяти, памяти-воображении или памяти о непережитом, которую создают последующие поколения. Автор считает, что концепцию «постпамяти» «легче понять в терминах горя, чем травмы или категории посттравматического» (с. 14). Тем не менее он ссылается на Рут Лэйс (Leys 2000), которая проводит различие между «миметическими» и «немиметическими» теориями травмы. Опираясь этой терминологией, исследователь приходит к понятию «миметического горя». Это понятие у Эткинда перекликается с «травматическим реализмом» Майкла Ротберга (Rothberg 2000), хотя, в отличие от него, распространяется и на внелитературные формы памяти.

Механизм травматического переживания прошлого Эткинд возводит к памяти о французской революции, проявившейся в гротескной игровой форме, какой являются «балы жертв», ритуал, в ходе которого постреволюционное поколение выражало сожаление о погибших. Наличие такого игрового, порой комического момента в поминальных обрядах является, согласно автору, неотъемлемым элементом коллективного переживания горя и его трансляции последующим поколениям:

Тесная связь юмора, воображения и горя становится ясна каждый раз, когда скорбящие встречаются на поминках, пишут некрологи или рассказывают истории о призраках. Кольридж считал, что ужасное, по закону человеческой природы, всегда стоит близко к смехотворному. Как заметил Беньямин, комизм – вернее, чистая шутка – является обязательной изнанкой скорби, время от времени оказывающейся снаружи, как изнанка в одежде показывается на отверстии или кайме (с. 21).

С этим связана театральность, присущая проявлениям горя, – память потомков изначально перформативна, основана на разыгрывании непережитых событий в воображении. Ей, по мнению автора, противопоставлена монументальность:

Если юмор – обратная сторона горя, внешняя сторона последнего принимает форму памятника. Чистая шутка защищает скорбящего от миметических излишеств, разрушающих его субъектность, а монумент, напротив, выражает состояние горя с церемониальной серьезностью (с. 21–22).

Эткинд выделяет таким образом две основные категории культурной памяти: «мягкую», то есть словесную, и «твердую» – памятники, музеи и т.д. По мысли Эткинда, культурные процессы памяти рождаются из их взаимодействия. В отличие от западноевропейских стран в современной России наблюдается недостаток «твердой» памяти. Память здесь связана, главным образом, с текстами, ибо для возведения памятников необходима помощь государства, а большинство мемориальных проектов – выдвинутых, как правило, частными лицами – не встречает поддержки в официальных сферах.

Существует и третья категория памяти – виртуальное пространство. К нему относится Виртуальный музей ГУЛАГа, созданный петербургским «Мемориалом».

Пытаясь дать вслед за Юргеном Хабермасом определение общественного пространства, в котором реализуется культурная память, Эткинд подчеркивает, что в нем господствует текст. Иными словами, только текст диалогичен и предполагает свободную дискуссию. Памятник же, даже в демократических странах, навязывает определенную точку зрения, он царит на своем постаменте, не признавая соперников, он изначально антиплюралистичен. Если полемика между историками оставляет вопрос открытым, то памятник как бы «закрывает» его. Очевидно, что Эткинд здесь не учитывает антипамятники Йохена Герца, скрытые от глаз или постепенно исчезающие. Можно поспорить также и с утверждением автора, будто современные немецкие и израильские монументы, посвященные Холокосту, используют героическую символику, показывая скорее героев сопротивления, а не пассивную жертву (с. 188). Если последнее и справедливо, то лишь по отношению

к памятникам, созданным в первые годы после войны, тогда как более поздние памятники (например, мемориал, возведенный в Треблинке, или памятник Вальтеру Беньямину в Портбоу) скорее демонстрируют идею исчезновения, стирания. Более очевидным отличием мне кажется то, что российские памятники в основном фигуративны, в то время как современные памятники на Западе тяготеют к абстракции. Об этом свидетельствуют берлинские Мемориал памяти убитых евреев Европы и Еврейский музей, где уничтожение символически изображается вынесенными за пределы музейных галерей замкнутыми пространствами, ломаными линиями, грудой камней. Хотя, конечно, главное в аргументации Эткинда бесспорно: в российских памятниках полностью отсутствует история сопротивления, отсутствует в них и идея преступления – погибшие предстают жертвами трагедии, за которую никто не отвечает.

Автор замечает, что, в отличие от Западной Европы, где существует традиция создания мемориалов на местах бывших лагерей смерти, в России наблюдается тенденция устанавливать памятники не непосредственно на месте лагеря или расстрела, а неподалеку – как бы в знак того, что новый государственный строй не сменил старый, а сосуществует с ним. Но и это не является правилом: в большинстве случаев на территории бывших лагерей просто отсутствует всякое указание на имевшие место преступления. Оказывается, что сложно выносить информацию из музеев в городское пространство, например, иногда бывает труднее установить мемориальную доску, чем организовать выставку.

В российской культуре, как и в любой другой, подвергшейся ампутации исторической памяти в результате бесследного исчезновения части населения, смытой волнами террора, звучат голоса «призраков» – тех, кого нет в живых, но кого нельзя с полным правом назвать и мертвыми, ибо они не похоронены и не оплаканы. Кстати, путеводителем по стране живых мертвецов автору отчасти послужило семейное предание. Александр Эткинд – племянник Ефима Григорьевича Эткинды, чей отец, как мы знаем, был арестован на исходе НЭПа; нить памяти уводит к 1930 году, связывает три поколения. Двенадцатилетним мальчиком Ефим Эткинд встречает отца, вышедшего из тюрьмы, и... не узнает его (с. 44). В книге мотив неузнавания лежит в основе схемы отношений между двумя «классами» советского общества: «свободными» и «сидельцами». Коммуникация между ними – невозможна. Неузнавание – аллегория, позволяющая понять, что опыт ГУЛАГа непередаваем (с. 59).

Эткинд предлагает исследовать постсоветскую память на пересечении трех эпистемологий. «Первая из них – фрейдовский психоанализ горя, вторая – идея Вальтера Беньямина о том, что религиозные символы получают вторую жизнь в продуктах массовой культуры, а третья – русский формализм с его идеей остранения. У скорбящих три набора инструментов [...]: магия, художественная культура, с характерными для нее механизмами остранения, и юмор» (с. 21). Отметим особо тонкий и точный анализ механизмов магического мышления, поставленных на службу памяти. Местами он перекликается с исследованием Дины Хапаевой (2008), в котором показано, как концентрационное прошлое повлияло на формирование того, что она называет современной «готической культурой». В результа-

те кризиса рациональности и утраты интереса к человеку культурное пространство оказывается заполнено «нелюдями» – ведьмами и вампирами (о готическом реализме см. в рецензируемой работе с. 69–75). Читатель узнает о том, как память превращается в вымысел: когда нарушен естественный процесс осмысления прошлого и оплакивания погибших, горе обращается в меланхолию. В России это приводит к тому, что иррациональное видение мира проецируется на прошлое, размываются границы между фактами и фантазией. Согласно Эткинду, в отличие от Америки, здесь преобладает не «мультикультурализм», а «мультиисторизм»:

В отсутствие единого канонического взгляда на историю люди свободно выбирают полезные символы и понятия из множества возможных альтернативных форм истории. Этим объясняется преобладание в постсоветской литературе магического историзма, тенденции переизобретать человеческую и русскую историю. (с. 208).

Так, например, возникает теория «новой хронологии» Анатолия Фоменко (см., например, Фоменко 2005), в которой пересматривается весь ход истории и географии вплоть до XVIII века (выясняется, например, что Россия в Средние века занимала территорию современной Европы). Литература, кино, да и сама жизнь во множестве поставляют «потусторонние» сюжеты, они подробно разобраны в книге, и из них явствует, что в области памяти бал правит фантом, непогребенный мертвец, взывающий к живым о своей неприкаянности.

Но не только жертвы репрессий подлежат оплакиванию. Постсоветское общество «носит траур» и по самой идее коммунизма, безнадежно себя скомпрометировавшей (этой проблеме посвящены, в частности, главы 7–8 монографии Эткинды). Вечный призрак, бродящий по Европе, – коммунистическая идеология – тоже является мертвым телом, которое надлежит предать земле.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кертес, Имре. 2004. «Нетленность лагерей». С. 46–56 в *Язык в изгнании: Статьи и эссе*. М.: Три квадрата. Просмотрено 25 апреля 2015 г. (<http://www.pergam-club.ru/book/6063>).
- Фоменко, Анатолий. 2005. *Основания истории*. М.: РИМИС.
- Хапаева, Дина. 2008. *Готическое общество: морфология кошмара*. М.: Новое литературное обозрение.
- Hirsch, Marianne. 1997. *Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Leys, Ruth. 2000. *Trauma: A Genealogy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rothberg, Michael. 2000. *Traumatic Realism: The Demands of Holocaust Representation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.